

Книга Сайма заканчивается главой «Проблемы» (стр. 211—219). Проблемы НА многочисленны и причиняют беспокойства. Сайм резюмирует их следующим образом. Первая проблема литературная: источники, фабрикация, структура, композиция. В противоположность последующим биографиям первые биографии (до Максимиана) в значительной степени беспорядочны и гетерогенны по своему составу. Хотя путем их анализа и можно дойти до последнего источника, однако все же оказывается много добавленного и вкрапленного материала. На вопрос, сколько слоев и пересмотров следует принять во внимание, нелегко ответить.

Вторая проблема — количество авторов. Большое сходство между биографиями заставляет Сайма объявить себя сторонником предварительной гипотезы единого автора всего сборника.

Требуется еще много работы для выяснения отношений вспомогательных биографий (т. е. биографий соправителей, претендентов, лиц, не достигших звания Августа) к основным биографиям; важно выяснить также, на каком этапе своей работы автор решил добавить посвящения императорам и выдать произведение за сочинение шести писателей. Его фабрикации следует изучить и классифицировать — по типу и охвату. Язык НА нуждается в тщательном изучении; Сайм находит, что этот аспект вопроса в последнее время не был предметом должного внимания. Вообще, по мнению Сайма, преобладающая часть дискуссий начиналась «с дурного конца» — с поисков даты и замысла сборника. Среди большого количества соображений Сайма заслужива-

ют внимания его скептические высказывания о поисках пропагандистских целей биографий. Автором НА руководило тщеславное удовольствие вводить в обман своих читателей. Трудно уловить у него какой-нибудь серьезный политический замысел (стр. 212—214).

В последней главе автор рецензируемой книги еще раз предостерегает против доверия к показаниям НА (стр. 218 сл.).

Большой библиографический список (180 названий) замыкает книгу.

В итоге английский ученый дал любопытную книгу, развивающую и обосновывающую ту критическую точку зрения, которая является в настоящее время господствующей в изучении НА. Пересмотр, уточнение и расширение старой аргументации сопровождается в книге Сайма совершенно новыми доводами, в первую очередь — вытекающими из сопоставления НА с трудом Аммиана Марцеллина.

Автор взвешивает свои доказательства, не раз предупреждая читателя о недостаточной весомости отдельных аргументов, настаивая лишь на действительности их как связной цепи, как совокупности. Даже в конце книги он называет свое положение о едином авторе сборника предварительной гипотезой (such at least is a provisional hypothesis — стр. 211). Простудировав книгу Сайма, читатель окажется обогащенным как в отношении освоения новых данных и соображений о НА, так и в том, что касается методики своеобразного подхода к текстам, с трудом поддающимся исследованию с помощью обычных для филологии и источниковедения приемов.

А. И. Доватур

ЧЕТЫРЕ НОВЫЕ КНИГИ ПО ИСТОРИИ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ

The Prosopography of the Later Roman Empire, by A. H. M. Jones, J. R. Mantindale, J. Morris, vol. I: A. D. 260—395, Cambr., 1971, XXII + 1152 стр.

Трудно переоценить значение задуманного английскими учеными свода позднеримской просопографии, который должен выйти в трех томах, доведенных до середины VII в. Разумеется, у издателей были свои предшественники — недаром сами они начинали работу с росписи «Реальной энциклопедии» Паули — Виссова, и тем не менее издаваемый ими свод может служить не только удобным справочником, где собраны в обозримом объеме важнейшие сведения о римлянах в пределах 260—640 гг., но и стимулом для социально-статистического анализа позднеримского общества. В самом деле, свод

дает материал для того, чтобы ставить вопросы об имущественной обеспеченности, происхождении, социальной подвижности господствующей верхушки, ибо, конечно, именно она (наряду с деятелями культуры — писателями, врачами и т. п.) всего подробнее представлена в своде.

Основная часть книги — расположенные в алфавитном порядке биографии отдельных лиц.

Уже самые шрифты (полужирный, курсив и т. п.), которыми набраны имена, имеют «социальную нагрузку», обособляя иллюстриев, spectabiles, clarissimi от остальной массы учтенных лиц. Графически

четко выделена дефиниция («наместник Галатии», «готский вождь», «историк», «жена Диоклетяна» и т. п.) и время отправления основной должности. Текст статьи содержит (там, где это возможно) данные о написании имени, о месте рождения, об официальной карьере, о дружеских и родственных связях, об имуществе, о строительной и литературной деятельности, об адресованных этому лицу указах и письмах. Важнейшие пассажи источников приводятся по-гречески или по-латыни. Литература указывается спорадически, при констатации дискуссионных проблем, и без какой-либо претензии на полноту¹.

В приложении к тому приведены списки консулов, префектов претория, префектов Рима, префектов Константинополя, провинциальных наместников и ряда других должностных лиц, а также 30 генеалогических таблиц римских семей.

Так как просопология Поздней Римской империи только еще делает первые шаги, мне представляется целесообразным отметить некоторые особенности построения свода, вызывающие сомнения.

Прежде всего, бросается в глаза непропорциональность объема статей: так, статьи о Стилихоне или о Фемистии занимают по пять страниц каждая (стр. 853—858, 889—894), а статья об императоре Константине — менее одной (стр. 223 сл.). Отмечу попутно, что при написании статьи о Фемистии авторы не использовали новую работу Ж. Дагрона², где поставлены под сомнение некоторые факты, здесь принимаемые как бесспорные: согласно Дагрон, Фемистий не родился в Константинополе, не был учеником Иерокла; Дагрон по-прежнему определяет время написания ряда речей Фемистия; так, он считает, что речи XXV, XXVII, XXVIII, XXX и XXXII не могут быть датированы, речи XXIII, XXVI и XXIX он относит к 359 г. (в своде — 377/8 г.), а речь XXIV — к 340—344 гг. (в своде — до 358 г.). Несколько расходится Дагрон

со сводом и в датировке речей XIII, XVIII и XIX.

Обращает на себя внимание отсутствие в своде церковных деятелей, в том числе столь известных, как Арий, Афанасий Александрийский, Амвросий Миланский, Василий и т. д. Ясно, что речь идет о сознательном исключении определенного круга лиц, хотя, на мой взгляд, такое исключение вряд ли может быть оправдано. К тому же принцип проводится недостаточно последовательно: если Григорий Назианзский лишь упомянут на стр. 404 (но все-таки упомянут), то Амфилохию, епископу Икония, уделена особая статья (стр. 58). Марий Викторин также представлен в своде (стр. 964), где прямо отмечается его обращение в христианство, тогда как об Ацилии Севере (стр. 834) даже не сказано, что тот был христианином³. Нет в своде Александра Липкопольского, автора книги против манихеев (около 300 г.), хотя принадлежность его к христианам не бесспорна⁴. Следовало бы включить и александрийца Анатолия, о котором повествует Евсевий Кесарийский, — он преподавал (прежде чем принял христианство) Аристотелеву философию и был членом городского совета⁵.

Включение или невключение деятелей рубежа IV и V вв. далеко не всегда последовательно. Стилихон, казненный в 408 г. удостоился, как мы видели, большой статьи — умерший ранее Стилихона его панегирист Клавдиан отсутствует в томе, как и ряд других их современников, например, осмеянный Клавдианом *magister equitum* Иаков.

Труден вопрос о принципе расположения статей. Действительно ли алфавитный принцип является наилучшим, или в тех случаях, где это возможно, следовало комбинировать лиц по семьям? Следовало бы подумать и над тем, что известные удобства могло предоставить расположение лиц в хронологической последовательности (при наличии именного указателя). Впрочем, подобные методы расположения уже означали бы первый шаг к обработке материала.

¹ Например, на стр. 548 к статье об Аммиане Марцеллине указана, помимо статьи в RE, только книга Э. Томпсона.

² G. D a g r o n, *L'empire romain d'Orient au IV^e siècle et les traditions politiques de l'hellénisme*, «Travaux et mémoires», 3, 1968. Биография Фемистия — см. стр. 5—26.

³ Н. Kraft, *Kirchenväterlexikon*, München, 1966, стр. 12.

⁴ Там же, стр. 20.

⁵ Там же, стр. 35 сл.

P. GARNSEY, *Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire*, Oxf., 1970, XIII+320 стр.

Книга охватывает период от эпохи Цицерона до времени Северов, т. е. от середины I в. до н. э. до начала III в. н. э., и распадается на две неравные части. В первой, состоящей из трех обширных

разделов (стр. 13—218), Питер Гарнсей рассматривает римское судопроизводство и свойственные ему формы «фаворитизма» в интересах привилегированной верхушки, тогда как вторая, сравнительно не-

большая часть (стр. 221—276), посвященная выяснению того, кто составлял в Римской империи привилегированную социальную группу.

Значение этих проблем не равноценно, и, хотя сам автор сосредоточивает свои усилия на выяснении конкретных форм осуществления римского судебного фаворитизма, для нашего читателя, несомненно, больший интерес представляет вторая часть книги, содержащая опыт анализа социальной структуры римского общества, которое, по мнению Гарнсея (стр. 3), оставалось в избранные им столетия практически неизменным.

В нашей исторической науке римское общество I в. до н. э. — II в. н. э. рассматривается как рабовладельческое. Гарнсей не игнорирует ни существования рабов, ни различия в шкалах наказания рабов и свободных. Он цитирует слова Каллистрата (Dig. 48, 19, 28 § 16) о том, что «предки» во всех случаях строже карали рабов, нежели свободных, равно как и лиц дурной репутации они наказывали сильнее, чем обладавших добрым именем (стр. 260). Но, по его мнению, текст Каллистрата не нуждается в специальном комментарии, а само разграничение между рабами и свободными кажется Гарнсею чересчур «широким» (стр. 260 сл.), поэтому, раз возникнув на страницах его книги, оно тут же исчезает. В разделе о социальном статусе римского общества рабы больше не упоминаются⁶, хотя в главах, посвященных судебной процедуре, идет речь о пытках рабов (стр. 213—216), о суровых расправах с рабами (стр. 126—133) и т. д. Проблема, однако, заключается в том, можем ли мы говорить о «дихотомии» римского общества, о его расколе на два «класса» (в понимании Гарнсея), на две социальные группы — *honestiores* и *humiliores* — или же его социальная структура была более сложной. Иными словами, поглощались ли рабы понятием *humiliores* или составляли особый разряд, по отношению к которому *humiliores* оказывались привилегированной группой? Вопрос этот не праздный, поскольку с ним связано представление о римской привилегированности: можем ли мы говорить о ней как об абсолютной (привилегированность свободного по отношению к рабу, *honestior* по отношению к *humilior*) или нужно применять к Риму то понятие градуированной привилегированности, которое так характерно для раннего средневековья. У самого Гарнсея, кстати сказать, анализ привилегированности

римских граждан (объем этих привилегий, по его мнению, сокращается к правлению Каракаллы, хотя и не исчезает вовсе, — стр. 270) ведет к постановке вопроса о «степенях» привилегий (стр. 263).

И все же, повторю, Гарнсей рассматривает римское общество как состоящее из двух групп: привилегированной (*honestiores*) и непривилегированной (*humiliores*)⁷. Пусть он сам считает дихотомическую стратификацию условной, спекулятивной, скрывающей сложную природу римского общества; пусть он оговаривает неоднородность обеих групп (стр. 280)⁸; пусть подчеркивает трудность определения понятия «привилегированный класс» (стр. 234) — практически он оперирует двумя социальными группами.

Каковы же, по Гарнсею, критерии, определяющие принадлежность к привилегированным? Это обладание *honor* или *dignitas*, которая состоит из совокупности факторов: характер, происхождение, служебное положение и богатство (стр. 234). На стр. 258 автор снова определяет римский «престиж» (*dignitas*). Он зависел от политической позиции или влияния, образа жизни (характер, моральные достоинства, образованность) и богатства (ср. стр. 279). (Отметим, что экономический фактор в обоих случаях сводится автором к «богатству».) Различие двух определений бросается в глаза: во втором случае выпадает «происхождение» — фактор, который в средние века был одним из наиболее существенных критериев принадлежности к знати. Политическое влияние, разумеется, не тождественно служебному положению. Наконец, во втором случае вводятся такие моменты, как моральные достоинства⁹ и образованность. Отсутствие однозначного ответа в книге Гарнсея, мне кажется, лишний раз подчеркивает сложность поставленной задачи. Историки-медиевисты давно уже бьются над определением понятия феодальной знати — вопрос о том, как понималась «знать» в Римской империи, также заслуживает обсуждения. В част-

⁷ Указывая на стр. 234 (прим. 1) литературу о *honestiores*, Гарнсей совершенно не отмечает работ советских ученых, в том числе и специальной статьи: А. Р. Корсуны, *Honestiores и humiliores в законодательных памятниках Римской империи*, ВДИ, 1950, № 1, стр. 81—90.

⁸ О неоднородности «сословий» в Римской империи, в том числе рабов, см., например, Е. М. Штаерман, М. Т. Трофимова, Рабовладельческие отношения в ранней Римской империи (Италия), М., 1971, стр. 300.

⁹ Значение моральных достоинств в понятии *honestior* Гарнсей подчеркивает и на стр. 223.

⁶ Если не считать, конечно, упоминания на стр. 249 ветеранов, владеющих рабами, равно как и пассажа на стр. 221, где Гарнсей опять-таки цитирует Каллистрата, на этот раз для характеристики статуса не рабов, но *famosi*, «пользующихся дурной репутацией».

ности, было бы существенно выяснить, всякое ли богатство в равной мере формировало привилегированность, или же мы можем говорить о «градуированности» богатства.

Ту мысль, что в Риме правовая система благоприятствовала интересам привилегированных разрядов¹⁰, Гарнсей не без оснований считает тривиальной. Давно уже введен в оборот очень выразительный рассказ Сенеки Старшего (Sen., Contr. 10, 1) о богаче, который смеется над бедняком, не решающимся подать на богача в суд, хотя тот убил его отца (стр. 216 сл.). Однако Гарнсей уходит от тривиальной постановки проблемы, конкретизируя вопрос и стремясь выяснить

характерные черты римской системы правовых привилегий (стр. 277). Уже принцип «самопомощи» в формулярном процессе благоприятствовал богатым и влиятельным лицам, поскольку у бедняка могло не хватать материальных средств для вызова ответчика к претору. Разделение судебных инстанций усугубляло дихотомию общества на привилегированных и непривилегированных: первые в большинстве своем (хотя и не всегда) отвечали перед судом императора и сената, вторые — в так называемых *quaestiones*, обычных судах (стр. 99). Разная система наказаний вырабатывается во II—III вв., по мере того как суровые кары, применявшиеся прежде к рабам, распространяются на *humiliores*, тогда как *honestiores* удерживают свои привилегии (стр. 152, 171). При этом Гарнсей приходит к выводу, что правовые градации крайне редко были результатом законодательства, но коренились скорее в административной практике и в социально-психологической атмосфере, позволявшей судье в конкретном случае принимать решения в пользу *honestior* (стр. 218, 278).

F. PASCHOUD, Roma aeterna. Etudes sur le patriotisme Romain dans l'Occident latin à l'époque des grandes invasions, «Bibliotheca helvetica romana», t. VII, Roma, 1967, 390 стр.

Исходным пунктом исследования Франсуа Пашуда служат слова П. Курселя, констатировавшего рост патриотизма в Римской империи после разгрома при Адрианополе в 378 г.¹¹ Автор ограничивает себя хронологически — периодом примерно в 80 лет, завершающимся понтификатом Льва I (440—461 гг.), поскольку, по мнению Пашуда, именно Лев создал ту форму римского патриотизма, которая перешла в средневековье. Он ограничивает себя и территориально — западной половиной Империи.

В какой мере последнее ограничение продуктивно, вопрос, на мой взгляд, спорный. Не будем говорить о том, что отнесение грека Аммиана Марцеллина, восторженного поклонника и историка Юлиана, к западным писателям очень сомнительно. Гораздо важнее другое: в конце IV в. обе половины Империи при всем их сепаратизме составляли единое государство, да и в первой половине V столетия, уже разделившиеся, они стояли перед сходными проблемами, во всяком случае в своем отношении к варварскому миру. Причем восточные писатели занимали в этом вопросе, пожалуй, иную позицию, нежели их западные современники, и это относится не только к Сине-

сию Кипренскому, которого Пашуд сам упоминает несколько раз, но всегда в одном ряду с западными языческими писателями (стр. 42, прим. 47, стр. 142, 163, 286, 325). Приск Панийский по сути дела полемизировал с теми настроениями, которые были свойственны Сальвиану Массилийскому: Пашуд дважды упоминает грека, которого Приск встретил при дворе Аттилы (стр. 19, 297) и который отстаивал проварварские взгляды, — но, как известно, сам Приск возражал этому греку (fr. 8). Еще более отчетливые антиварварские настроения были присущи такому деятелю восточной церкви, как Иоанн Златоуст, которого Пашуд не упоминает вовсе. Я постараюсь показать ниже, почему игнорирование взглядов восточных писателей привело к принципиальному смещению акцентов и при оценке патриотизма западных авторов.

Книга Пашуда состоит из ряда очерков, посвященных отдельным лицам (Авсоний, Аммиан Марцеллин, Симмах, Вергий, так называемый *Anonymus de rebus bellicis*, Клавдиан, Рутилий Намациан, Амвросий, Иероним, Пруденций, Августин, Павел Орозий, Сальвиан Массилийский, Лев I), которые четко разделены на язычников и христиан. Эта структура отвечает и концепции автора, поскольку, по его мнению, патриотизм языческий и патриотизм христианский не только отличались друг от друга, но и

¹¹ P. Courcelle, *Histoire littéraire des grandes invasions germaniques*, 3^{me} éd., P., 1964, стр. 23.

пережили разные судьбы. Язычники, согласно Пашуду, относились враждебно к варварам и отличались друг от друга лишь тем, что иные надеялись одним ударом сокрушить германцев, другие допускали возможность сотрудничества, третьи (как Аноним) сознавали всю серьезность варварской угрозы и предлагали ряд существенных реформ. При этом Пашуд остроумно замечает, что римская сенаторская аристократия, выступавшая в роли носительницы идеи «вечного Рима», на практике осуществляла феодализационные тенденции и способствовала распаду Империи (стр. 104). Языческий патриотизм был обречен на неудачу. «Идеология языческого патриотизма не была способна ни в какой области принять новые взгляды, которые позволили бы ей с успехом встретить политическую ситуацию, в корне переменившуюся» (стр. 328).

Христиане в своей ненависти к варварам первоначально не отставали от язычников, у них эта ненависть усугублялась враждебностью к еретикам-арианам. Только Августин, а затем Сальвиан отказываются от этой ненависти: поскольку Августин десакрализировал Римское государство, он снял с германских вторжений обвинение в нечестии (стр. 252 сл.), Сальвиан же прямо считал, что благословение божье было не с римлянами, а с германцами (стр. 301 сл.). Параллельно с этим изменялось и отношение христиан к римскому государству. Уже признание христианства и превращение его в государственную религию заставило отвергнуть апокалиптическую ненависть ранних христиан к государству вообще и к Риму особенно и перестроить отношения церкви к государственной власти на основе языческого принципа *do ut des*, который в данном случае сводился к лаконичной формуле: «Рим защищает церковь, за это господь защищает Рим» (стр. 330). На этой позиции стоят христианские авторы конца IV в.: Амвросий (стр. 201 сл.), Пруденций (стр. 224—229) и до какой-то степени Иероним (стр. 211). Взятие Рима Аларихом в 410 г. сокрушило всю эту концепцию: бог христиан оказался бесильным защитить свой город, тогда как раньше языческие боги защищали его успешно. Августин выработал в этих условиях новую точку зрения.

По учению Августина, церковь как духовный институт не имела соприкосновения с государством — учреждением земным, политическим и создаваемым людьми, поэтому их взаимоотношения не могли регулироваться принципом *do ut des* (стр. 263 сл.). Рим — это *res publica pessima et flagitiosissima*, несмотря на то что в ее недрах есть государи, магистраты, господа и рабы, которые уже стали гражданами небесного отечества. Рим не диавольская структура, римское государство — дар божий, но вместе с тем и плод греха (стр. 270). Во всяком случае

возрождения следует ждать не от него, а от церкви.

Концепция Августина была слишком ученой, чтобы стать массовой. К тому же она расходилась с его практикой: ведь Августин искал у *res publica pessima* помощи против донатистов (стр. 332). Она дала римскому обществу моральные силы противостоять кризису 410 г., но она не решала проблемы. Решение, найденное в понтификат Льва I, состояло в том, что государь правит миром как выразитель божественной воли (стр. 317 сл.). Римский патриотизм получал таким образом сакральное обоснование.

Изложенный здесь ход мысли последователен и четок. Его соответствие действительности тем не менее весьма проблематично. Проблематично в первую очередь последовательно конфессиональное расчленение авторов. Действительно ли в IV в. социально-политические и идеологические грани проходили столь четко по конфессиональной линии? Если до сих пор не утихают споры, был ли Аммиан язычником или христианином¹², если совсем недавно было высказано мнение, что Клавдиан скорее христианин, чем язычник (см. об этом ниже), ясно, что грань между язычеством и христианством была в ту пору менее четкой, чем представляется автору. Во всяком случае Дагрон в цитированной выше работе (см. прим. 2) показал применительно к Восточной Римской империи IV в., что отношение к государству отнюдь не определялось одной конфессиональной принадлежностью.

Если мы освободимся от предвзятой классификации Пашуды, то увидим, что подавляющее большинство римских писателей конца IV в. — христиан и язычников, западных и восточных (включая Сinesия, Иоанна Златоуста и т. д.) — сочетает римский патриотизм с враждебностью к варварам и эта враждебность удерживается у авторов, писавших после 410 г., как Рутилий и Сидоний Аполлинарий. Противоположная оценка начинает пробивать себе дорогу, но если мы видим ее в середине V в. только у христианских авторов, то не потому, что язычники были неспособны подняться до терпимости к варварам, но по той простой причине, что откровенно языческая литература не пережила начало V в.

И та последовательность развития христианской политической мысли, которую рисует Пашуд (от Амвросия через Августина ко Льву I), не кажется мне совершенно бесспорной. Прежде всего Августин был слишком крупной фигурой, чтобы его могли понять и принять его современники.

¹² См. об этом А. П. К а ж д а н, Аммиан Марцеллин в современной зарубежной литературе, ВДИ, 1972, № 1, стр. 227 сл.

менники: сам Пашуд очень справедливо подчеркивает, что даже Орозий, ученик и сотрудник гиппонского епископа, руководствовался не «высокими спекуляциями» Августина, но «популярной политической теологией» (см. 278). Лев I со своим принципом *do ut des* не столько развивает идеи Августина, сколько возвращается к мыслям, господствовавшим в конце IV в. Представление о божественности императорской власти отнюдь не было оригинальной идеей Льва I, но официальной позицией католической церкви¹³, восходящей, как, впрочем, замечает и сам Пашуд (стр. 317), к Евсевию Кесарийскому (стр. 317) и широко распространенной в восточной половине империи. «Христианская или языческая, — говорит об этом Дагрон, — эта идея не была (в IV в. — А.К.) новой, но она перестала быть достоянием риторики, чтобы сделаться достоянием политики и историографии»¹⁴. И Дагрон, в частности, прослеживает развитие этой мысли языческим оратором IV в. Фемистием.

Книга Пашуда состоит из серии очерков, посвященных отдельным авторам. Сам автор признает, что ради целостности картины, в этих очерках подчас повторяются вещи общеизвестные, неоригинальные (стр. 17). Однако в какой мере эти индивидуальные биографии и характеристики отвечают современному состоянию науки?

Обратимся к разделу, посвященному Аммиану Марцеллину. Пашуд датирует написание «Истории» Аммиана между 378

и 395 г. — «без риска ошибиться», как он сам говорит (стр. 33), тогда как существуют и более «узкие» датировки, согласно которым книга была завершена к 394 г. или даже еще раньше (см. прим. 12). — но это для целей его книги не имеет серьезного значения. Важнее, что он безоговорочно признает аристократическое происхождение Аммиана (стр. 33 сл.) на основании одного-единственного факта — приложения Аммианом к самому себе термина *ingenuus*, который, собственно говоря, обозначает «свободнорожденного». Еще существеннее то, что Пашуд без колебаний принимает традиционную трактовку Аммиана как последовательного антигерманиста (стр. 45), хотя уже за два года до появления его книги А. Демандт показал, на каких шатких основаниях построена эта традиционная точка зрения¹⁵. Но если Аммиан не был антигерманистом, то его место во всей структуре книги оказывается ложным. Оказывается, в частности, что в среде языческой интеллигенции конца IV в. (т. е. еще до Августина!) римский патриотизм мог сочетаться с терпимостью к варварскому миру.

Мы увидим далее, что и в характеристике Клавдиана у Пашуда немало спорного.

Рецензируемая книга построена на обширном материале. В ней много остроумных наблюдений, удачных формулировок. Любопытно, в частности, использование памятников изобразительного искусства в качестве параллелей к свидетельствам римских идеологов (см. стр. 10, 333). Но мне кажется, мы не сможем понять всю сложность идейно-политической борьбы в Римской империи IV—V вв., если будем сводить ее к противоположности язычества и христианства.

¹³ Так, никоимидийское духовенство писало, обращаясь к Валентиниану III и Маркиану: «Господь с полным основанием дал вам царить и править всем ради спасения вселенной и мира в святых церквях» — см. Н. H u n g e r, *Prooimion*, Wien, 1964, стр. 54.

¹⁴ D a g r o n, *L'empire romain d'Orient...*, стр. 136.

¹⁵ A. D e m a n d t, *Zeitkritik und Geschichtsbild im Werk Ammians*, Bonn, 1965, стр. 31—36.

A. CAMERON, *Claudian. Poetry and Propaganda at the Court of Honorius*, Oxf., 1970, XVI+508 стр.

Монография Алэна Кэмерона по своей структуре коренным образом отличается от только что рассмотренной книги Пашуда. Клавдиан, один из многих героев Пашуда, стоит в центре работы Кэмерона. Это не значит, что Кэмерон, один из лучших знатоков литературы поздней Римской империи, рассматривает Клавдиана изолированно от его современников — напротив, именно знание эпохи, ее стереотипов и языка нередко позволяет Кэмерону решить по-новому задачи, которые его предшественники решали (и решали ошибочно) на основе изолированных спекуляций по поводу тех или иных

пассажей Клавдиана. Различие, повторяю, не в объеме использованного материала, а в структуре, в конструкции книги.

Клавдиан, как и Аммиан Марцеллин, был родом грек, сменивший родной язык на латынь и сделавшийся первым латинским поэтом конца века. Удивительное явление! Латинская литература после продолжительного молчания вновь обретает голос, и во главе этого латинского возрождения стоят грек из Антиохии и грек из Александрии.

Центральная идея книги может показаться тривиальной. Кэмерон приходит к выводу, что Клавдиан был не просто

льстецом, прославлявшим Стилихона, но поэтом-пропагандистом, выразителем политических устремлений миланского двора на рубеже IV и V вв. В таком общем виде эта мысль выражалась неоднократно, она высказана, в частности, и Пашудом (стр. 134)¹⁶. Но когда Кэмерон начинает выяснять, какие именно принципы пропагандировал Клавдиан, к какой социальной среде он принадлежал, на какую социальную группу рассчитывал, как, наконец, изменялись его взгляды в соответствии с изгибами политики Стилихона, — тут и обнаруживается оригинальность его взглядов.

Одна из интереснейших глав книги называется «Язычник при христианском дворе» и посвящена вопросу о вероисповедании Клавдиана. Пашуд зачисляет его, хотя и не без колебаний, в язычники (стр. 136 сл.). Кэмерон стремится пересмотреть этот взгляд. В самом деле, кому служил Клавдиан? Он начал свою деятельность в Риме с панегирика Анициям — одной из ведущих сенаторских семей, но семей не языческих, а принявших крещение (стр. 30 сл.) Он был выразителем политики миланского двора, где Стилихон выступал как христианин, впрочем терпимый к инакомыслию¹⁷, а Серена, его жена, племянница Феодосия I, просто как фанатичка, что не мешало поэту восхвалять ее наравне со Стилихоном и Гонорием (стр. 190).

Можно ли говорить о «языческом характере» поэзии Клавдиана? Кэмерон очень хорошо показывает, что образы языческой мифологии были свойственны не только Клавдиану, но и многим несомненно христианским авторам V и VI вв. (стр. 193 сл.). И то же самое относится к употреблению им слова «боги» во множественном числе (стр. 196—199). Более того, Клавдиан сам причислял себя к «верным» (стр. 216), и в его поэзии отразились некоторые христианские образы (стр. 217 сл.). Наиболее серьезным аргументом в пользу язычества Клавдиана являются его стихи «На Иакова — магистра всадников», на которые ссылается и Пашуд (стр. 138), однако Кэмерон стремится доказать, что стихи эти направлены не против христианства, а против Иакова лично (стр. 224 сл.).

В свое время С. Мадзарино детально аргументировал предположение, что Клавдиан был выразителем интересов языче-

ской сенаторской аристократии Рима¹⁸. Кэмерон выступает против этого, обращая внимание, в частности, на то обстоятельство, что политические поэмы Клавдиана читались в Милане, а не в Риме и что на протяжении пяти лет, с 395 по 400 г., поэт вообще не наведывался в «вечный город» (стр. 229; ср. стр. 249). Он обращает внимание на одно место в «Похвале Стилихону», где поэт прославляет своего покровителя за то, в частности, что тот не позволил сенату даже обсуждать вопрос о признании на Западе консулата Евтропия. «Уже этого пассажи достаточно, — замечает Кэмерон, — чтобы отказаться от мысли, что Клавдиан был выразителем интересов сената» (стр. 235). Только в трех поздних поэмах Клавдиан проявляет возрастающий интерес к сенату (стр. 230 сл.), что Кэмерон связывает с изменением позиции Стилихона по отношению к сенаторской аристократии.

Видя в Клавдиане выразителя интересов сенаторской аристократии, Мадзарино считал его сторонником отхода от Диоклетианова «абсолютизма» к «конституционной монархии».

Кэмерон выступает и против этой мысли (стр. 377 сл.). Правда, он сам отмечает, что Клавдиану осталась чуждой идея «божественной монархии», которую отстаивали его восточные современники — язычники и христиане (стр. 386 сл.). Стилихон, по-видимому, не мог рассчитывать на столь полное воплощение принципов автократии, как это было на Востоке. Дело было, следовательно, не в том, что Клавдиан отстаивал интересы языческой аристократии, но в том, что миланский двор мог рассчитывать на меньшее, чем двор в Константинополе.

Расхождение между Кэмероном и Пашудом в оценке политических взглядов Клавдиана не случайно: слишком туманно выражает поэт свои концепции. Не надо забывать и о том, что сама эпоха была амбивалентной, текучей, неустойчивой. Если греки создавали латинскую литературу, то удивительно ли, что язычник мог восхвалять христианского государя? Но каковы бы ни были личные убеждения Клавдиана, в своих действиях он был связан не с языческой аристократией Рима, а с христианским двором Милана.

А. П. Каждан

¹⁶ Отмечу, что в характеристике Стилихона как полководца, которому Феодосий I поручил опеку *обоих* сыновей, Пашуд более традиционен, чем Кэмерон. По мнению Кэмерона, Феодосий вовсе не ценил в Стилихоне полководца (стр. 55), а что касается опеки *обоих* сыновей, то об этой чести Стилихон заявил сам, ссылаясь на слова Феодосия, сказанные ему без свидетелей (стр. 38 сл.).

¹⁷ Августин, впрочем, называл его ревностным христианином — см. «The Prosopography...», I, стр. 858.

¹⁸ S. Mazzarino, La politica religiosa di Stilicone, «Rendiconti dell'Istituto Lombardo, Cl. di Lettere», 71, 1938, стр. 235—262. Ср. H. L. Levy, Themes of Encomium and Invective in Claudian, «Transactions of the American Philological Association», 89, 1958, стр. 336—347. См. также в книге Пашуда, стр. 144—149. В книге Д. Романо (D. Romano, Claudiano, Palumbo, 1958), где проблема социальной принадлежности Клавдиана практически не ставится, поэт характеризуется как «консерватор» (стр. 48).